

С Л О В О О ПАУСТОВСКОМ

В любую минуту и в любом настроении я могу, раскрыв Паустовского, «зачитать» им. Он захватывает меня в чтение, как захватывает жизнь, с той только разницей, что заставляет воспринимать вещи острее, чем в жизни, делает мои органы чувств — глаза, уши, обоняние, осязание — восприимчивей, нежнее в жизни. Слово снята между тобой и жизнью стеклянная перегородка окна, сняты катаракты привычек, торможения, равнодушия — и ты весь вышел на свежий, чистый воздух, как бы только что выпулился из скорлупы в новое бытие.

Такая непосредственная вхожесть в мир через книгу — вещь редчайшая в литературе. Она дается огромным искусством писателя. И от писателя она требует великого самоограничения и сдержанности.

На каждом шагу нас, пишущих, подстерегает соблазн передать читателю описание того, что и как мы чувствуем. Бывает, чем сильнее переживанье, тем подчеркнутей мы воспроизводим его, воспроизводим не конкретные поводы восприятия, а его обобщенное, уже готовое выражение чувств. И читателю остается только поверить им. Но Паустовский почти всюду молчит о себе. Он дает не «уже готовое», обобщенное выражение собственных впечатлений от жизни, а только сумму тех тонких, тончайших, почти неуловимых примет и оттенков звука, интонации, формы, красок, скрупулезно точно, словно кончиком кисти схваченных в окружающем мире, какие заставляют вас самого увидеть, почувствовать, пережить авторское впечатление. Я не знаю в нашей советской литературе ни одного писателя, более щедрого к читателю и более скупого к самому себе, нежели Паустовский. Быть может поэтому он так высоко ценим людьми искусства и у нас, и за рубежами нашей страны.

Приведу пример, который когда-то, при первом чтении, особенно поразил меня. Поездка мальчика (из автобиографической «Повести о жизни») в Полесье летом на каникулы. Юный Паустовский слышит там рассказ, как сторож богатого помещика Любомирского спустил волкодава на нищего-слепца; слепец остановился, а испуганный мальчик-поводырь бросился бежать, и волкодав задушил его. Всего несколько страничек. Сперва две-три строчки описания природы Полесья — и вы уже нико-

гда не забудете полесских лесных болот. Так просто — и так необычно зримо: «Трава стояла по обочинам в воде» и «в этой воде тлел, не потухая, слабый закат». Дорога уже увидена, но дорога и услышана. Мне, глухой, Паустовский дает особенно ярко слышать дорогу, и слух мой насыщается звуками: «Тучи комаров зудели в вышине», «равномерно посвистывая тяжелыми крыльями, пролетали дикие утки», а на самом въезде в усадьбу «сразу закричали сотни лягушек и телега зарохотала по бревенчатой гати». Должна тут, к слову, заметить, что мастерство Паустовского в области передачи звуков земли, интонации человеческого голоса, характера людских говоров вообще не имеет себе равного в советской литературе. Всю силу этого мастерства, мне кажется, может вполне оценить лишь человек, лишенный, подобно мне, слуха...

Дальше — усадьба, короткий рассказ о гибели мальчика-поводыря, за которым не следует ни единой реплики автора, ни восклицания, ни возмущения. Похороны, описание убитого в гробу дано почти иконописно, живет лишь одна деталь — тонкая свеча в мертвых пальцах горела, искривляясь, и «воск капал на желтые пальцы». Вокруг гроба — слепцы, странные «могилевские деды», не просто слепые нищие, а «майстры», мастера древней общины слепцов, «в одинаковых коричневых свитках, с блестящими от старости посохами в руках». Вам становится не по себе, холодок бежит по спине: «Нищие смотрели вверх, на царские врата. Там был образ седобородого бога — Саваофа. Он страшно походил на этих

нищих. У него были такие же впалые и грозные глаза на сухом и темном лице». И вот один из слепцов подходит к могиле. «Щупая палкой землю, поклонился гробу, потом выпрямился, и глядя перед собой белыми глазами, заговорил нараспев». Нет нужды цитировать тут эту песню-сказание о сердце «убиенного хлопчика», принесенном в жертву богу. Эту песню-сказание надо прочесть в тексте. И она опалет душу, хотя бы вы читали это место в десятый раз. В десятый раз хлынут у читателя слезы...

В этом скупом, как темная древняя иконопись, рассказе автор нигде не пишет о своем собственном чувстве, своих собственных слезах. Но читателю он дал на нескольких страничках пережить целую симфонию чувств — пронзительную в своей свежести природу Полесья, мистический холодок от странных слепых «майстров», неудержимую разрядку светлых слез... А за простым и строгим рассказом встает огромное горе народа, нищая древняя Русь, обездоленная царская деревня. И — полыма над ней, зарево народной мести над подожженной усадьбой помещика Любомирского...

Большой художник, давший родному народу так много глубокого и прекрасного, исторгший у него чистые, освежающие душу слезы, заслужил самую высокую награду — великую народную любовь. Горячие волны этой любви притекают к нему в день его семидесятипятилетия от миллионов сердец, со всех концов нашей большой земли, воспетой им, открытой им для нас в бессмертном «очаровании жизни».



НА СНИМКЕ: К. Паустовский и М. Шагинян в Доме творчества советских писателей. Ялта. Осень 1965 года.

"Описание обгорелого" 27 мая 1964